

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

## ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ: СИБИРСКИЙ ПЕРИОД 1915–1919 гг.

*Кто не дождался и погиб пред пламенем костра,  
Тому размерных слов седеющие свитки.  
Нам — грохот жизни. Пыль, клубящая кибитки.  
И тройка! Тройка! Ко вратам Великого Отца<sup>1</sup>.*

Вс. Иванов. 1919 г.

Употребляя в данном случае слова “забытые страницы”, мы имеем в виду не тот частый в истории литературы факт, когда современники при жизни или потомки после смерти не сохраняют памяти о произведениях писателя. Нет, речь идёт о сознательных действиях автора, делающего всё возможное, чтобы определённая часть его творческой биографии как бы не существовала. Выдающийся мастер советской литературы Всеволод Вячеславович Иванов приложил много усилий, чтобы о сибирском периоде его жизни не вспоминали: не перепечатывал рассказы этого времени, снисходительно называя их слабыми, подчёркивал тот факт, что только после переезда из Сибири в Петроград благодаря А. М. Горькому и началась его деятельность как писателя. И началась “Партизанами”, “Бронепоездом 14-69” и другими известными произведениями, составившими в начале 1920-х гг. его славу “Нового Горького” (заглавие статьи В. Львова-Рогачевского, 1922), который сумел сказать “о переживаемой нами революции настоящее, яркое, художественное слово”<sup>2</sup>. Архивы Кургана — города, где в 1915 г. началась литературная работа Вс. Иванова, и Омска, где оказался Вс. Иванов в 1917–1920 гг., в один из, может быть, самых сложных периодов жизни Сибири XX в., сибирские газеты того времени и сохранившиеся материалы личного архива писателя показывают, что это было далеко не так. Публикуемые ниже архивные материалы открывают перед читателями “другого” Вс. Иванова, а также дают возможность прочитать интереснейшие страницы русской литературы предреволюционных и первых революционных лет, вдали от столиц жившей полнокровной и насыщенной жизнью.

Вс. Иванов родился в 1895 г. в селе Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской губернии. Село находилось на Горькой линии — так назывался район казачьих посёлков и станиц, основанных в XVIII в. вдоль Иртыша, который отделял русских от местного населения, главным образом киргизов (так в то время называли казахов). Сибирские просторы, казахстанские степи, традиции казачества и казахского народа, а также китайцев и японцев, причудливое соединение вер и обычаев старообрядцев, сектантов, шама-

<sup>1</sup> ОР РНБ Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 518.

<sup>2</sup> Львов-Рогачевский В. Новый Горький (Всеволод Иванов) // Современник. 1922. № 1. С. 156.

нов – вся эта “азиатчина” найдёт отражение в произведениях Вс. Иванова и многое определит в его судьбе.

После обучения в сельской школе в Лебяжьем и церковноприходской школе в селе Волчиха, на Алтае, Иванов два года (1908–1909) учится в низшем сельскохозяйственном училище Павлодара, затем работает в типографии наборщиком. Из Павлодара юноша отправляется в странствия по Сибири с цирком Коромыслова: зазывает зрителей, показывает фокусы, прокалывает себя булавками и подвешивает на них гирьки и т. п. Читает и изучает книги по магии, гипнотизму и факиризму. В результате чтения этих книг, а может быть, влекомый искони свойственному русскому человеку стремлением к духовному Граду, Вс. Иванов принимает решение идти в Индию, которая представляется ему страной высших проявлений человеческого духа и свободы. Путь в Индию проходит через Семиречье, Семипалатинск, Тюмень, Бухару, многочисленные села, монастыри и раскольничьи скиты. Отчаявшись добраться до Индии, юноша возвращается в 1915 г. в Курган, и с этого года начинается его литературная биография.

В Кургане молодой Иванов становится одним из наборщиков в типографии А. И. Кочешева. Знакомится с крестьянским поэтом – самоучкой К. Худяковым, в доме которого собиралась литературная молодёжь города. Читали Некрасова – любимого поэта самого Худякова, новокрестьянских поэтов Н. Клюева, С. Есенина. О поэтических симпатиях молодого Вс. Иванова можно судить по такому факту: в 1917 г. он подарил К. Худякову сборник стихотворений С. Есенина “Радуница” с надписью: “Кондратию Худякову для поминования Вс. Иванова”<sup>1</sup>.

Биографии известных нам произведений Вс. Иванова также открывают стихи: “Зимой” (газета “Приишимье”. Петропавловск, 1915. 29 нояб.), “На Урале” (там же. 1916. 7 февр.) и др. Однако ведущими жанрами становятся рассказы, очерки и то, что сам Иванов определит как “сказки”. К ним относятся, в частности, “Легенды (или “Рассказы...”) об ушедшей Сибири” – небольшие произведения, сочетающие жанровые признаки сказки, легенды и притчи. Часть этих текстов Иванов, выбрав для себя псевдоним “Всеволод Тараканов”, в 1917 г. объединит в самодельный сборник “Зелёное пламя”, а в 1919 г. – в сборник “Рассказы”, аккуратно наклеив вырезки из газет, где они печатались, в общие тетради (хранятся в личном архиве писателя). Другие почти на 100 лет останутся в газетных подшивках 1915–1919 гг.

Представленные в настоящей публикации рассказы “В Святую ночь” (1915) и “Вертельщик Семён” (1916) раскрывают две ведущие темы молодого Иванова – войны и деревни. Показывают они и две грани дарования писателя – реалистическую, бытовую и условную, фантастическую. Рассказ “Вертельщик Семён” станет одним из первых, в котором Вс. Иванов откликнется на проблему “раскрестьянивания” деревни, ярко прозвучавшую впоследствии в одной из лучших его книг “Тайное тайных” (1926). В центре этого раннего рассказа – “тайное тайных” души мужаика с его тоской о земле, о доме, о спокойном хозяйстве – обо всём том, что будет утрачено русской жизнью в разрушительных катаклизмах войн и революций XX века. Совершенно в иной, символистской тональности выполнено повествование в рассказе “В Святую ночь”. Стоя на скале над рекой, несущей кровавые воды с полей Первой мировой войны, Ангел Мира и Ангел Смерти ведут разговор о человеке: “К чему людям мир? Они не достойны его, они должны выстрадать спокойное счастье...” – утверждает Ангел Смерти, и собеседнику нечего возразить ему. Удивительно, как в невесёлых раздумьях двадцатилетнего Вс. Иванова о человеке прозвучат те же оценки, которые будут им высказаны в последнем незавершённом рассказе “Генералиссимус” (1962): “После этих двух войн, двух величайших преступлений, в которых повинны ВСЕ мы, нельзя людям радоваться чудом. Они подумают – прощены. Между тем за всё, что они сделали, – в том числе и я, и Вы, – они должны перенести великие страдания, понять свою вину и тогда, может быть, могут быть прощены”<sup>2</sup>.

В ранних рассказах Вс. Иванова много следов влияния как писателей предшественников (например, в рассказе “Писатель” узнаётся стилевая ма-

<sup>1</sup> Цит. по: Минокин М. Встречи и переписка со Всеволодом Ивановым // Омский государственный литературный музей. 29/21. Л. 26–27.

<sup>2</sup> Рукопись рассказа хранится в личном архиве Вс. Иванова.

нера А. П. Чехова), так и современников. В рассказе “Золото” прочитывается главная тема сибиряка А. С. Сорокина – власть денег, название повторяет заглавие монодрамы Сорокина “Золото”. Ивановский рассказ “Золото” своей композицией и пейзажными зарисовками отсылает также к раннему творчеству А. М. Горького: “Макару Чудре”, “Старухе Изергиль”, “Песне о Соколе” и др.: “Эх, мулла, – говорит Керим. – <...> Почему, ты спрашиваешь, мы чтим наши песни, почему любим наши сказания?” – но ответ даётся скорее антигорьковский: “Потому, – скажу я тебе, – что каждое слово песен и сказаний омыто слезами и в песню обращено долгими страданиями”. Об этом же напишет молодой Иванов и в письме Горькому осенью 1916 г.: “Мне кажется, любовь к жизни и смысл её можно понять через страдания. Разве есть другие пути?”<sup>1</sup> Верный себе Горький скажет в ответном письме: “Знайте, что всем нам, знающим жизнь, кроме человека верить не во что”<sup>2</sup>. Однако именно веры в гордого Человека никогда не будет у Вс. Иванова. И он сам, и его герои будут искать истинную веру всегда и везде: на пашне, у шаманов, в раскольничьих скитах, но только не в человеке. Показателен диалог о свободе – одной из ключевых философских и нравственных категорий молодого Горького, – который ведут герои рассказа “Шантрапа” (1917). “Свободен ветер, свободен я!..” – вопит бродячий актер Таёжный. И слышит в ответ: “Полый ты человек. Таёжный, взболтанный. <...> Дарование имеешь, а у забора сдохнешь. Почему? Нитей у тебя внутри нет здоровые; ражий ты человек, а гнилой”. Свободный, вне родины и Бога идущий по свету человек, близкий герою молодого Горького, оценивается Ивановым как “полый”, пустой, а “мудрость жизни” он видит не в “безумстве храбрых” (эти программные слова Горького даны Ивановым в рассказе в ироническом контексте), а в другом: “Тяжёлою силою дышит океан, и кажется он сейчас воплощённой мудростью... И вот тогда, первый раз в жизни, мне захотелось поцеловать родную землю!” (“Над Ледовитым океаном”, 1917).

Тема родной земли – ещё одна из ведущих в рассказах молодого Иванова. О земле в родной сибирской деревне мечтает ставший рабочим мужик Семён Платонов (“Вертельщик Семён”). “Нужно нежно отнестись к земле, ибо это мать ваша; но вы не сыны её. И не может быть она матерью вам, потому что вы – люди-волки, люди – пасынки земли”, – говорит завоевателю Ермаку киргиз Темирбей (“Сон Ермака”, 1917), и т. п. Именно в ранних рассказах Вс. Иванова определилась эта важнейшая для него тема, которая тесно свяжет его с новокрестьянскими писателями и которая в середине 1920-х гг. практически разведёт его с учителем Горьким по вопросу о русской деревне. Истинное величие человека Иванова видит не в гордости, а в покаянии и готовности к страданию и жертве. Раскаявшийся в убийстве старого киргиза, молящийся за свою душу и за свою родину Ермак (обратим внимание на то, какой сюжет о Ермаке – популярном в сибирской литературе персонаже – выбирает Вс. Иванов); раздавший бедным деньги богатого хана мудрец, который говорит людям о добре и любви (“Золото”, 1916); пожертвовавшая жизнью ради спасения ребёнка маленькая букашка Нио (“Нио”, 1916); отрёкшийся от своей миссии пророка Сын человеческий, смиренно помогающий строить жилища людей (“Сын человеческий”, 1917) и другие герои – вот, судя по всему, примеры истинного величия для начинающего сибирского писателя.

По-своему представлены в ранних произведениях Вс. Иванова прошлое Сибири – “старые годы, когда Сибирь была могущественным царством народа, который теперь вымер и не оставил по себе следов” (“Рао”), и её настоящее – “стали люди ронять старые сосны, жечь их небесной молнией, соединять друг с другом трупы и делать гнёзда” (“Нио”). На фоне очевидного неприятия Ивановым машинной цивилизации: “Машины поглотили у них (людей. – **Е. П.**) истинно человеческое” (“Сын человеческий”) – ясно прослеживается в первых рассказах молодого автора мечта о другом, измененном мире, где не будет напрасно литься кровь и “люди будут вечно помнить заветы любви” (“Рао”). “Рассказы об ушедшей Сибири” откроют в творчестве писателя тему народного утопического идеала, воплощенного в 1920-е гг. в образах “Полой Арапии” (“Полая Арапия”, 1921), города Верного, который, как говорят, ушёл

<sup>1</sup> Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., 1985. С. 7.

<sup>2</sup> Там же. С. 10.

под землю (“Жаровня архангела Гавриила”, 1921), Белого острова (“Бегствующий остров”, 1925) и других.

В Кургане Вс. Иванов встречается Февральскую революцию 1917 г. Вступает в партию социал-революционеров<sup>1</sup> и публикует свои произведения в эсеровской газете “Земля и труд”. С эсерами молодого Иванова на первых порах могли сближать утверждаемые ими идеи народовластия, “мира без аннексий и контрибуций”, осуждение “тяжёлого кошмара войны”, поддержка идеи Крестьянского союза и интересов деревни в целом, то есть главные лозунги — “Земля и воля!”<sup>2</sup> Не исключено, что Иванов мог разделять и областнические лозунги, которые, вопреки своим официальным декларациям, поддерживали эсеры, — вспомним его ностальгические легенды об ушедшей Сибири. Однако писатель, как показывают документальные материалы, довольно скоро разочаровывается в возможности осуществить эти замечательные идеи на практике.

Второй период сибирской литературной жизни Вс. Иванов связан с Омском, куда он переезжает осенью 1917 г. И вновь тесно переплетаются в его биографии литература и политика. Благодаря изысканиям сибирских учёных и краеведов: Е. Беленького, В. Трушкина, П. Косенко, Л. Пудаловой, С. Поварцова, И. Девятяровой — нам довольно много известно о круге омских писателей 1917–1919 гг., среди которых оказался Вс. Иванов. Близкими ему в это время становятся “король сибирских писателей”, как он себя называл, А. С. Сорокин; автор блестящей повести о старообрядцах “Беловодье” (1917) А. Е. Новосёлов, поэты Г. Маслов, Ю. Сопов, И. Малютин, Л. Мартынов, П. Драверт и другие. Помимо написания стихов, рассказов и сказок, Иванов стремится к издательской деятельности. Создает “Цех пролетарских писателей” и в апреле 1918 г. выпускает первый номер газеты “Согры”, в которой он — едва ли не единственный и главный автор: его перу принадлежат статьи, пьеса “Чёрный занавес”, рассказы. Вероятно, продолжению издательской работы помешала очередная смена власти в Сибири: после большевиков, Временного Сибирского правительства, Директории к власти в ноябре 1918 г. приходит адмирал А. В. Колчак.

Тот факт, что молодой писатель, бывший осенью 1918 г. в Красной армии, продолжает печататься в газетах, которые поддерживали Омское правительство (“Заря”, “Дело Сибири” и др.); осенью 1919 г. становится наборщиком и публикует свои произведения в газете Дальневосточной армии “Вперёд”, а при отступлении армии Колчака в январе 1920 г. уезжает вместе с типографией “Вперёд”, не дожидаясь победоносного вступления в Омск советских войск, — вызывал при жизни Иванова и продолжает вызывать до сих пор весьма разноречивые толкования<sup>3</sup>. Поддерживал ли Вс. Иванов Колчака, ненавидел ли его, или цинично был готов продаваться и красным, и белым, — ответов на эти вопросы мы, вероятно, не найдём ещё долго. Прежде чем осудить молодого писателя за политический цинизм, попытаемся представить себе обстановку в Сибири тех лет, когда совершенно не ясно было, какая власть всё-таки восторжествует, и, главное, ни одно из правительств не показало себя действительно народным. Думается, более всех почувствовал настроение Иванова в те дни еще один сибирский писатель, К. Урманов, также бывший тогда в Омске и в целом осуждавший поведение собрата по перу. В своих воспоминаниях он писал о встрече с Ивановым в Омске в 1919 г. в разгар колчаковщины. “Драка идёт большая”, — якобы сказал тогда Иванов, не стал слушать о разгроме восстания рабочих, а обратил внимание своего собеседника на другое: в город привезли икону Абалакской Божьей Матери, и её вышли встречать верующие. А затем прочитал стихи: “По улицам пыль, да ветер, / Да треск колокольного звона, / Одно только я заметил: / Пронесли чудотворную икону...”<sup>4</sup> (стихи принадлежат Вс. Иванову. — Е. П.) Видимо, это представлялось молодому писателю важнее политики.

<sup>1</sup> В Государственном архиве Курганской области (Ф. р852. Оп. 1. Д. 18. Л. 25(об) имя Вс. Иванова находится в списках кандидатов в гласные Курганской Городской думы от Группы объединённых социалистов, в состав которой вошли весной 1917 г. эсеры и социал-демократы.

<sup>2</sup> Земля и воля. Курган. 1917. 20 авг. С. 5.

<sup>3</sup> См., напр.: Поварцов С. Биография, автобиография, жизнь (К портрету Всеволода Иванова) // Вопросы литературы. 2008. № 10–12. С. 168–189.

<sup>4</sup> Урманов К. Наша юность // Сибирские огни. 1965. № 2. С. 16.

Темы войны и деревни, с которыми входил в литературу Вс. Иванов, будут продолжены им в омский период творчества. Бесхитростный рассказ искомленного на войне крестьянина Прошки Пронина о том, как его встретили в родной деревне, лёг в основу сюжета публикуемого ниже очерка «Встреча». Финальные строки его воскрешают в памяти один из самых драматичных циклов стихотворений Н. А. Некрасова «На улице», где прохожий, видя страдания людей, «Богу поспешил молебствие принести / За то, что у меня наследственное есть». На вставшую остро именно в XX в. проблему разрушения традиций, отрыва человека от его корней в эпоху исторических потрясений и бесчеловечного развития технического прогресса также откликнется молодой Вс. Иванов в своих ранних рассказах: «Духмяные степи» (включён в книгу «Рогульки», 1919), «Отверни лицо твоё». В названных рассказах и очерках, а также в небольшом цикле «Миниатюры» и др. автор надевает маску «странника» — стороннего наблюдателя происходящих трагических событий, но избранный приём повествования, напротив, подчёркивает, насколько небезразлично писателю народное горе.

Представленные в настоящей публикации произведения Вс. Иванова сибирского периода — лишь малая часть уникального материала, который войдет в готовящийся к печати в ИМЛИ РАН двухтомник «Всеволод Иванов. Материалы биографии и творчества» (исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-04-00512а «Новое открытие Всеволода Иванова»). Впервые собранные вместе, эти произведения показывают, насколько многогранным было дарование молодого сибиряка, сумевшего передать в самых разнообразных формах — от романтической сказки до жёсткого реализма, почти натурализма — свои размышления о начале нового великого раскола жизни России.

*Елена Папкова*

## ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

# ВЕРТЕЛЬЩИК СЕМЁН

Семён Платонов служил вертельщиком в типографии. Дело простое: стой смену в 9 часов, верти колесо у машины, подноси формы, которые нужно печатать, смой их — когда отработают. Труд не хитрый, пустой — мальчишка справится, который посильнее.

А Семён вот и к этому делу не совсем подходил: больно уж тонок, длинен и хрупок, и его продолговатое белое лицо, с большим покатым лбом, с чёрной окладистой бородою, при носке форм так вытягивалось и перекашивалось, фигура так перегибалась, карие же круглые глаза смотрели так пугливо, трусливо и грустно, что глядеть на Семёна было и тяжело и жалко!

Семён пришёл к нам из-под Омска... Где-то там, в степях, затерялась его деревушка — там его изба, семья: трое детей с молодухою. И Семёну надо бы там быть, да не пришлось: по весне жену схоронил — расход, осенью опять женился — в хозяйстве без бабы никак нельзя — вновь расход, а тут к ряду и лошадь пала — на это уже Семёна не хватило, и он ушёл на лошаденку деньги промыслить... Дело шло к зиме, оно хоть и война, — много и угнали, работа не набегала, осел Семён у нас.

Да и в городе нашем, известно, зимою — место глухое, время — тоже; народу разного находит много, хоть на сковороде его поджаривай, только работу давай. Месяца два он прошатался зря, — совсем обнищал. Перед Рождеством, наконец, выпало метелчко, — как такое счастье привалило, Семён и сам не знает: у ворот типографии человек двадцать стояло, а вот выбрали его одного.

— Задавай паспорт, вертельщиком будешь, — сказал какой-то служащий, обращаясь к Семёну. — Больше не требуется! — обернулся служащий к остальным.

Пошёл Семён за ним.

– Получше будто народу нет, – на глисту какую польстился! – промычал кто-то из толпы вслед Семёну.

Забыл Семён все напасти сразу. Сытость какую-то почувствовал и, возвратясь с работы, даже размечтался: “По весне – обязательно, к себе домой на коняге прикачу... Да чо там пешком ийти! Нужно!.. Недалече от посёлка лошадиная ярмарка бывает – закуплю... И айда!.. Жена-то, ничо, – хоть вторая, а бабёшка – ласковая... парнишки, хоть дурни ещё, а коняге обрадуются. Под озимь землю осилю поднять... навоз повывозим”. И закрутились, не мешая друг другу, веселые думушки в Семёновой небольшой голове.

В типографию Семён попал большую... Вертельщиков на той машине, где он работал, было трое – он, значит, четвёртым. Работа простая, но набиралось её порядочно – только поспевай! С непривычки, что ли, а вначале как-то нудно было: от шума машин голова вроде того что пухла, а и ходить промеж работающих машин боязно... Да это всё пустяки, попривыкнуть не долго! Так и домой Семён отписал...

Дня через три товарищи-вертельщики стали к Семёну с магарычом приставать: спрыснуть надо-ть должность.

– Брага-то, Семён, хорошая!..

– Не пью я, роднинькие! – мямлил Семён.

– Не пьёшь – и не пей, а нам поставь!

– Я-то ничо, да шибко деньжонками поослаб...

– Поработаешь...

– Много, роднинькие, надо: и себя надо поддержать, бабе кое-что отправить, по весне конягу надо купить... Без коняги... землю не поднять... раззор.

– Затянул!.. неча мямлить-то... такое уж заведение... мы тоже ставили, до войны дело лучше было – и пили больше... нас не спрашивали: как да чо! Ставь, и вся тут.

Семён упорствовал, вертельщики заседали, и для первого раза дали тычка два-три по Семёновой узкой, длинной спине.

Семён не осерчал: не тем занята и была его голова, чтобы сердиться. Ему думается, что он на конской ярмарке... лошадей, лошадей-то!.. Встречаются односельчане. А этот серый всем вышел... немного стар... По рукам, что ли? Да как развяжет Семён узел у красного большого платка, которым шея повязана, да как достанет из узла три розовые бумажки, да одну синюю – ту, у которой угол оторван маненько. “Уступить надо, парень. Давай с этой маленькой сдачи, надо ведь и жене и ребятишкам гостинец...” Семён уж посадил себя на лошадь. Никак заднюю ногу немного волочит... А за этим поворотом и деревня будет видна... Эх!!!

– Последний спрос от нас: поставишь магарыч?!..

– Я бы, роднинькие, и ничо... шибко деньжонками поослаб.

– Свинья ты!.. Ну ладно... попомни-и!!!

Вертельщики отстали, но дело у Семёна как-то сразу не поладилось, прямо из рук повалилось. И выдался же ведь денёк! Утром как-то нечаянно обронили тяжёлую раму, и она концом прижала ногу Семёну. Палец на ноге целый день ныл. После обеда, когда Семён с товарищем-вертельщиком нёс из кладовой тюк бумаги, в дверях, как-то нечаянно, прижало ему руку. Семён вскрикнул, выпустил тюк, за что получил “долговязого дурака” от мимо проходящего мастера.

Перед концом смены вызвали Семёна в контору. Толстый управляющий ругал Семёна всячески, указывая ему на замаранную бумагу. Записали штраф и выгнали из конторы...

Семён растерялся и ничего не понимал... Далёкая деревушка под Омском точно провалилась сквозь землю, не оставив о себе никакого воспоминания. Товарищи-вертельщики сторонились Семёна, промеж себя переговаривались и над чем-то посмеивались... В довершение всего, в тёмном переулке, когда Семён возвращался домой, на него напали неизвестные и сильно поколотили. Семён закрывал лицо руками и покорно подставлял спину и голову под удары...

Наутро он чувствовал недомогание, но на работу пошёл, предварительно подвязав посиневший глаз красным платком. Вертельщики посмеивались и предлагали Семёну опохмелиться со вчерашнего.

– Вот твоё “не пью, не пью, роднинькие” – для приятелей пожалел, а сам нализался... Ужо опохмелим...

А большой, длинноногий наборщик, похожий на журавля, увидав подвзанный глаз у Семёна, запел, подплясывая и подщёлкая языком:

*Серебром играет улочка.  
Месяц плачет над рекой.  
Мне у милой пивоварочки  
Зубы вышибли клюкой!..*

Семён робел и сторонился...

О деревне почти не думал. Звали опять в контору к управляющему. Управляющий шибко ругал Семёна, называл его пьяницей, грозил расчётом, так как вертельщики-де заявили, что Семён ленится, не помогает, отлынивает от работы.

Семён слушал и ничего не понимал, кроме того, что может потерять место, и это пугало его...

Вдруг слёзы брызнули из глаз, и он, как ребёнок, сбиваясь и путаясь, стал рассказывать управляющему о домогательствах товарищей и о том, как его вчера ночью избили.

– Пусть возьмут, чо я заработал, только напредки не мешали бы мне работать... Мне без работы никак нельзя. За мною нужда стоит... без меня семье-то, хозяйству раззор наступит...

Управляющий вызвал вертельщиков, ругал их и всех оштрафовал...

– Прослышу что – повыгоню! – сказал он в заключение.

Дело обошлось, принялись за работу. Потянулись однообразные дни, похожие на большие белые листы бумаги, которую приходилось таскать – ничего-то на них нет, а что будет впереди – может, чепуха какая? Семён прихрабрился, и деревня опять стала властвовать над ним.

Вертельщики были тоже “мужички” из ближайшей деревни, по праздникам ходили домой и частью ещё жили мужичками интересами. Семён прислушивался к их мужичким разговорам, сам кое-что вставлял, вообще интересовался мужичкими порядками в этой стороне.

Подходило Рождество. Праздновать будут дней пять. Семён шибко заскучал по дому; вспомнит что-нибудь, расскажет товарищам, вздохнёт и уставится глазами в одну точку.

– Чо, скучашь по деревне? – спросил Семёна старший из вертельщиков.

– Не всем дадено одинаково, – вот и скучно делается... Вы-то вот каждый праздник домой сбегаете, а мне... да чо говорить пустое!

– Даль действует... близко живёшь – не замечаешь... А коли так уж тебя потянуло, пойдём ко мне, попраздничаем...

Эти слова ожгли Семёна, но он посмотрел недоверчиво.

– Чо буркалы-то уставил? Сказано, значит, от сердца!

– Вот чо, родненький, я и не сумлеваюсь... да всё же за мной вина перед вами... Раз следовало с меня магарыч распить, так и разопьем... Зря тогда я всю эту волюнку затеял... Простите, родненькие, ослабел... Чо с меня приходится – получайте... хошь сейчас...

– Ладно, ладно. Вот это по-хорошему, давно бы так!

Поехали в деревню в розвальнях. Старый дедка приезжал с оказией, ну и зазвал подвезти парней. На выезд достали пива, “душного спирту” подлили... Ударил в голову серыми казанками дурман... Слизал он, как будто шершавым языком, то грязное и нечистое, что видели они, – и ровным и красивым стало окружающее. И ещё казалось Семёну, что зажгли у него в груди маленькую лампочку: бьётся она почему-то о стенки и хочет улететь ввысь, и Семёна поднимает – и так-то ему весело становится.

– Тётка, кислушки доставай, гуляем!.. Ты – ба – ба! – орал он на пивоварку.

Говорили любовно, по душам. Семён совсем расщедрился. Засиделись дольше, чем следует. Повалились в розвальни и поехали лёгкой трусцой.

Чёрной лентой при лунном сиянии длилась дорога... И высоко над ней был небесный путь, затканый золотыми огоньками душ умерших людей... И кто-то будто высокий и седой сел на далёкий посеребрённый тёмный ковёр бора и свистал оттуда мёртвым холодом...

Семён совсем размяк, лез к товарищам и нахваливал их.

– Ты не больно лиси... – мрачно вставил один из вертельщиков.

– Оставь! – неодобрительно прервал другой.

– Что оставлять? Больно я боюсь его: наплевать мне ему в харю!

– Зря болтаешь, раз нашей компании – обижать не след.

– Семёну ты это напоминай, а не мне. Магарыч то магарычом, да и о штрафе забывать не надо: по его милости с каждого из нас по полтиннику содрали... От его подлещиванья полтинники не придут!..

Это случайное напоминание действовало: пьяные тела зашевелились, замотали головами и зафыркали.

Слово за слово – и пошло. Дедка спокойно дремал с вожжами в руках...

– Чо на него смотреть? Неужели да эту собаку в дом принимать! Бросай его из саней!

– Чо бросать?! Я и сам сойду. Хороши приятели – нечо сказать! – храбрился пьяный Семён.

– Сойду!.. У, идол!.. Много славы будет... Не прикажешь ли лошадь остановить! Нет – для тебя штуку чище устроим – пожалься потом... Сттеррва!!!

Подвязали под мышки Семёну верёвку, высадили из саней и погнали лошадаёнку... Семён бежал, падал и, наконец, ухватившись руками за задок саней, волочился по грязной дороге... Через полчаса все в дровнях спали, лошадь плелась шагом... Семён пришёл в себя, поднялся и, осторожно сбросив с себя петлю, отстал от саней и пошёл тихо к городу...

Подходя к дому, Семён заметил, что с одной ноги он потерял пим...

Происшедшее представлялось ему смутно, но чувствовал он себя очень хорошо... Пришёл в квартиру... Было поздно, и хозяин-сапожник открыл ему не скоро...

Ночью Семёна разбудила ноющая боль в пальцах на руках и ногах... Потёр немного, поохал и опять уснул... К утру пальцы на ногах не двигались, ныли и почернели... Сапожник, слушая бестолковый рассказ Семёна, смотрел на пальцы, мял их, тёр уксусом и порешил, что дело дрянь: кости промёрзли.

– Иначе, дурень человек, и быть не может... Как держался за задок, кровь от пальцев отогнал, их ихватило морозом... Мороз лютый был. И с ноги пим потерял – тоже прохватило... И чудак же ты человек – выдумал с кем связаться! Чо же, думаешь, и у меня праздники – не праздники? Э–эх!..

“Пустое, пройдёт”, – думал Семён, рассматривая свои набухшие пальцы, смачивал их слюной и дул на них тёплым дыханием...

Дня через четыре ногти полезли с пальцев... О работе и думать нечего, хотя пора бы и начать... Сапожник принялся врачевать: делал какие-то припарки, а гнойные места срезал своим широким коротким ножом. Семён стонал, сапожник ругал его бабой и концы пальцев с сочащейся кровью опускал в чашку со снегом.

Семёна всё время лихорадило, он потерял аппетит, постоянно клонило ко сну, но не спалось, а мерещилась всякая всячина; то будто деревня горит, и его упавшей горячей крышей придавило; то будто вторая жена старшему сынишке ухватом голову разбила; то ему почудится, что он дома лежит на печи, а жена спит на лавке... Смотрит, Ромка рыжий к матери лезет, на четвереньках по избе ползёт, а на Ромку из-за печки баран смотрит...! Смотрит, да как лбом по Ромкиному лбу треснет – и уж не баран это, а управляющий в типографии!.. Душно... Рожь, рожь-то какая – на одной соломинке по два, по пяти, по двадцати колосьев!!! Только коси! Эх, матушка, держись!.. Берёт Семён косу, она упала, опять взял – выронил, нешто без пальцев косить можно!.. Холодным потом обдало Семёна, он бросился на пол, схватил метлу и хочет ею косить, но скоро одумался, садится на лавку и грустно, грустно смотрит в пространство...

Через месяц Семён оправился. На пяти пальцах руки сапожник срезал по два сустава, на трёх пальцах – по одному, на ноге Семён потерял по одному суставу на трёх пальцах... Концы пальцев стали грубеть, и Семён пошёл в типографию.

Товарищи-вертельщики бросились к Семёну с приветствиями, но Семён, положив руки в карманы, посмотрел так строго, что те отошли. В конторе управляющий не сразу признал Семёна, а когда узнал, то выругал его за то, что он так долго не приходил, и объявил, что теперь он не нужен, а паспорт и расчёт может получить в главной конторе.



В главной конторе навели справки и сообщили Семёну, что так как он долго не являлся, то его паспорт и деньги через полицию препроводили в волостное правление по месту его жительства.

— Как же теперь, значить... — мямлил Семён.

Конторщик что-то фыркнул и занялся своим делом.

— Поэтому так... — Семён ещё хотел что-то сказать, но, не сказавши ни слова, вышел из конторы; запустил глубоко руки в карманы и, согнувшись, тихо-тихо пошёл по улице.

...Серебряным одеянием кто-то окутал землю... прижимал к груди серые глыбы и плакал, и слёзы его алмазами сверкали на белом бархате одеяния. И были ль то слезы радости, радости об измучившемся и нашедшем покой, или же слёзы о горе, горе, творившем самого себя, — это было неизвестно...

*Курган. 1916.*

## НИО

*(Из рассказов об умершей Сибири)*

Над головой хлопает об воздух хрупкими крылышками стрекоза. Около мохнатого гриба повисла на коричневом сучке одинокая красная ягодка. По серому обрыву повисли зелёные зубчатые листочки костяники, а на краю ободранной нагой репейник, как старый нищий подслеповатыми глазами, щурится через дорожку с поверженным бледным тополем — на Туну...

Поверх блестящих искорок от воды, на зелёном обрыве противоположного берега, врезается в небо телега, и лошади не видно, кто там, но кажется: кто-то ласковый и добрый.

Хорошо!..

Вот взгляни, на ладони у Турка маленькая красная букашка, она плачет... Видишь, это слёзы её... Я расскажу, отчего она плачет...

...Когда-то не было здесь ровных, как скатерть, полей. По берегу Туны ползли земной дорогой леса — старые сосны, весёлые пихты и похожие на ласточек ели... Люди не шли сюда, они не знали, что есть здесь река — боялись они тайги без воды — это соль для людей: немного можно, а много — конец.

Властвовал тайгой гордый лесной царь Таэ, древний, как и царство его. Подданными его были — звери, птицы и духи векового бора...

Вот здесь, на берегу, у сломанного куста смородины, жила маленькая некрасивая букашка, которую все преследовали и не любили. А большая чёрная ворона хотела даже её съесть, но в тот день она была сыта. Она только ударила старой потрескавшейся ногой маленькую Нио, отчего у той долго болело тело...

И одинокая серая букашка вскарабкивалась на коричневый сморщившийся листок смородины — глядела оттуда на небо, на реку и радовалась, что можно и не запрещают букашке Нио любоваться на жизнь... А когда приходила ночь, то, засыпая, Нио думала о том, какие будут завтра облака, какое солнце и что споёт соловей... Была довольна Нио, и хотелось ей только запеть немного, совсем немного, потом подняться высоко-высоко над тёмным бором, чтобы видеть все владения лесного царя и хвалить его могущество... Но только мечтала об этом Нио и никому не говорила этого — ведь только бы сильнее смеялись над ней...

А однажды увидела Нио, что пришли по берегу реки похожие на медведей белые животные — все подданные Таэ звали их людьми. Стали люди ронять старые сосны, жечь их небесной молнией, соединять друг с другом трупы их и делать гнёзда.

Но часто садились они на берег реки у куста, на котором жила Нио, и тихо, печально говорили:

— Нас преследует несчастье...

Было их в этом гнезде трое: предводитель людей отец, мать и крошечная дочь с глазами, как небо, весёлая, как берёзка...

А Нио знала, что это не горе и несчастье преследует их, а Таэ, старый лесной царь: не хотел он, чтобы были люди здесь, и посылал на них горячую молнию — жёг тайгу, но окапывались люди широкими канавами, и огонь не

мог съесть их жилищ. Тогда царь бросал ураган, но люди уходили в землю и ждали покоя... Говорил Таэ зло морозу... Седой старик приходил и сжимал ледяными руками избушки – только трещали стены их, но люди звали огонь, отбрасывал руки мороз, уходил в тайгу, сердитый и смешной...

... Наступало лето, и снова люди вышли на землю, сосны бороздили владения лесного царя древесными сучьями, убивали подданных его.

Однажды, когда люди сидели у куста смородины, Нио, глядя на них с ненавистью, думала: “Зачем они пришли сюда?” Она не любила их, потому что преклонялась пред мудростью лесного царя, ненавидевшего людей...

Вот маленькая девочка увидела на листочке маленькую Нио, захлопала в ладошки, и смех её, как весенний ветерок, зашуршал по листьям.

– Мама, какая славная букашка!

Нιο оглянулась, думая, что это сказано не про неё, но вокруг никого не было... Тогда она обиделась: и здесь над нею смеются.

– Мама, дай мне её, – и девочка протянул ручки к Нио.

– Нельзя, милая, – сказала мать, – эта букашка боится людей, и ты раздавишь её. Смотри, какая она красивая, но не трогай ручкой.

И поняла Нио, что они не смеются, – она сразу полюбила людей. Ей первый раз приходилось слышать, что она красивая. Ещё больше ей захотелось радостно смотреть на мир, ещё сильнее славить могущество Таэ...

А ночью лесной царь сказал подданным:

– Люди не уходят из владений моих. Пусть ползёт чёрная змея и укусит дочь вождя людей, пусть умрёт дочь его, тогда в горе опустятся руки людей, и я убью их!

Сидела на сломанном листке смородины Нио и думала, как спасти маленькую добрую девочку... Вот она подошла, дочь вожака, села у куста и стала бросать в реку листья тополя и глядела, как, мигая, падали они лениво в Туну.

А из-под обрыва выползала чёрная змея... Тихо, тихо... И бросилась Нио прямо в глаз девочке. Испугалась девочка, схватилась за глаз... и убила Нио... и когда стала протирать глаза от слёз, опустила взгляд на землю... – к ней, шипя,вилась чёрная змея... Вскрикнула и убежала дочь людей.

Так умерла Нио...

Узнал об этом лесной царь Таэ и обратился к подданным своим:

– Если маленькая букашка могла оказаться такой великодушной и пожертвовать собой за доброе слово, то не могут же быть люди злыми и неблагодарными...

И повелел Таэ не трогать людей и не вредить им... Царь обратился к великому духу Ори, чтобы наградил он Нио за доброе сердце. Воскресил дух Ори букашку Нио, дал ей бархатное красное одеяние и сказал:

– Будет исполнено желание твоё... Лети и славь мир!

И высоко к солнцу взвилась красная букашка Нио, и песнь её, тихая и сладкая, как сон весны, плыла над тёмным бором и далеко незримо таяла... Умилённый, кланялся бор маленькой букашке и гордо глядел в небо земным оком. Последний из последних лесного царя стал первым...

Но люди не были такими, как думал царь Таэ – жгли они без нужды тайгу, врвались в заповедные чащи, заполняли выжженные поляны неведомыми травами, убивали подданных лесного царя.

Вихрем носился по тайге лесной царь, рвал древние могучие сосны и метал их за облака, ломал громадные скалы, как щепы, рассыпались осколки гор... Гудела и стонала земля, но царь Таэ не мог успокоить своё сердце... Гигантские деревья и камни падали близ жилищ людей – и люди жались друг к другу и говорили, что сегодня большое ненастье.

Но ничего не мог сделать лесной царь, – большую силу уже имели люди. Уходил он тогда в глубь тайги, куда не ступала ещё человеческая пята, охватывал руками оставшиеся сокровища и выл, страшным звериным воем выл...

И в гневе великий дух Ори сказал Нио:

– Ты обманула меня, и люди обманули меня... Отныне не будешь ты летать и петь, а увидишь человека – будешь плакать... и ещё не будешь иметь любви...

... Когда возьмёшь красную букашку Нио, трепещет она прозрачными крыльшками, хочет лететь и не может, хочет петь и не поёт: только плачет Нио, что больше нельзя ей петь и летать и что любовь её разрушили люди...

*Курган. 1916.*

# СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Я вошёл в город во время большого пожара.

Огненные драконы лизали небо... Вились по ветру их дымные хвосты серыми клубами... Брызгался блестящий вихрь искр пьяной свободой... Огонь торжествующий, смелый, красивый и гордый – начало всего – огонь пожирал серые здания...

Люди безумно и жалко метались, плакали – тащили из одного места в другое имущество – для того, чтобы ему было удобнее сгореть!

Я им сказал спокойно, совсем спокойно – среди криков и воплей. И они услышали тихое слово – ведь мгновения спокойствия только и можно остро почувствовать во время урагана:

– Разрушите эту улицу, и огонь потухнет...

Слово было простое, а они удивлённо и странно глядели на меня и говорили:

– Он безумец!..

Да, я безумец – потому что не походил не них! И я повторил вновь прежнее... Повторил тихо. Но настойчиво. Тогда они будто проснулись и поняли, и сказанное мной казалось им за придуманное ими – оно было так просто.

Они сделали, и пожар прекратился.

Они подошли ко мне после пожара, испуганно смотрели на меня – ибо они стали вновь люди, и гнилая змея каст поползла между ними вновь!

Был я в лохмотьях, и на ногах моих засохла кровь – я шёл издалека.

Они спросили:

– Ты спас нас! Кто ты?

– Я тот, кого вы ждали. Я – жизнь! Я пришёл из той страны, где редко закатывается солнце, когда приходит ночь – северные дивные мосты лучей покрывают небо! И ночь не бывает ночью. Я узнал, что вы день превратили в ночь и не поднимаете глаз к солнцу – и вот я пришёл к вам... Я семью свою бросил, я родину бросил – и одинокий пришёл сказать вам про солнце – прекрасное, лучезарное, волшебное, миллионоликое солнце!...

И как музыку тайн они слушали слова мои и кричали:

– Слава тебе, Пришедший, слава!..

Ввели меня в храмы свои, и я говорил про солнце, про красоту мира, про красоту признаний вечности.

Меня окружали сотни друзей и тысячи женщин, искавших моей любви.

И вдруг я увидел, что они превратили меня в сказку, слушали и чрез минуту забывали. Это огорчило меня, и я сказал им:

– Уйдёте из городов, из каменных глыб – к солнцу!

Но я ещё не знал их; они думали только о покорении земли, о машинах и каждый винтик их знали. Рассматривали под микроскопом капельку воды – и видели там тысячи жизней. Но вот себя не знали! Души своей не могли изучить... И машины поглотили у них истинно человеческое!

Все покинули меня. Друзья пошли к другим пророкам, которые говорили, что зло и мрак – это и есть цель жизни, а любимая женщина ушла к развратнику, потому что у него были деньги, а у меня их нет.

Я смеялся. У меня остался смех, который ещё слушали, – здесь ведь никто не смеялся! Чтобы они хотя немного были веселы, я смеялся, а под одеждой рвал тело ногтями, дабы болью заглушить плач сердца...

– Он над нами смеётся, – рычали они. – Уничтожить его!

Бросили меня в тюрьму. Было там слизко и сыро. Стены шептали ужасы.. Однажды в день сторож бросал мне через окно кусок хлеба и бутылку воды.

Я ходил по каменному ящику и хоронил прошлое. Впереди ничего не было – только злоба... Она оплела моё тело крепкими невидимыми сетями и в глаза дышала серыми миражами, поднимала мою голову и гордо шептала:

– Забывай прошлое!..

Протекло время... я не знаю сколько! У ночи нет числа. Единственный час её – смерть, единственная стрелка, указывающая на час, – забвение.

Я сгорбился, и на волосах моих был белый пепел, только в глазах стало зло.

Однажды зачем-то вошёл тюремщик – я кинулся, я убил его. Как при еде иногда раздавливают голову цыплёнка – только мозг брызгает, так и я разда-

вил эту плоскую, хищную голову. И в одеждах его, старый и хилый, вышел в город.

Я уходил на родину!

Я убегаю от людей — я так презираю их, а они идут за мной! Я перехожу на другую сторону улицы, но и тут, в уголках, я слышу шёпот похоти и хихиканье. Тогда я свёртываю в пустынную улицу, я рад, я избежал их — но впереди меня идут двое и громко разговаривают. О, когда же я убегу от них, когда? Город так велик.

И злоба давит меня — мне нужно убить кого-нибудь. Мне всё равно кого — я вхожу в первые раскрытые двери, беру попавший под руки лом.

В бедной комнате на кровати больная мать. Маленькая девочка кормит с ложечки своего брата и подносит кашку матери. Она говорит:

— Я наелась, мама, и брат тоже... Ты покушай...

Я плачу — она ведь не ела сегодня — она сама еле жива.

Я целую грязную маленькую ножку, я целую всё человечество, я спрашиваю:

— Почему у вас ночь, когда есть любовь?

Она говорит:

— Ещё рано, и солнце не встало...

И смеётся над глупым старым человеком, не знающим, почему ночь.

... Я выхожу на площадь. Я хочу говорить про красоту моей страны, хочу быть хотя сказкой, не клича на подвиг, но... не могу...

Каменные глыбы сожрали мою любовь к солнцу. Я не могу петь свет, потому что стал сыном тьмы.

Тогда мне говорят:

— Ты стар и хочешь есть. Ступай и помогай воздвигать жилища для людей!

И я кладу каменные исполинские колыбели для младенцев человечества!

*Курган. 1917.*

## ОТВЕРНИ ЛИЦО ТВОЁ

— Когда попадёшь ты, человек города, первый раз в степь Кара-Айны, остановись, взгляни в четыре стороны света, соверши свою молитву, если ты верующий, и вздохни глубоко-глубоко грудью, если ты лишён веры, потом закрой глаза твои и слушай. И когда семь ударов пробьёт твоё сердце — открой глаза, вперёд иди, если можешь. Если сомнения, тоска или грусть пали на сердце твоё — отверни лицо твоё от степей Кара-Айны и ступай обратно к городам, — так говорил дувана Огюс, пришедший ко мне за подаванием.

И когда я пошёл в степь Кара-Айны, я вспомнил слова твои, дувана Огюс.

Был почти вечер.

Окаймлённый отцветающим терновником прямой песчаный тракт словно полит кровью. Солнце — громадное, багрово-красное, как гигантский мяч, — медленно падает в тонких кружевных облаках за горизонт. На одном из телеграфных столбов сидит хохлатый, жирный, хмурый беркут. Я подхожу к столбу — беркут неторопливо расправляет крылья и так же неторопливо перелетает на другой столб. От солнечных лучей крылья приобретают цвет запёкшейся крови, летит он бесшумно, не оглядываясь, словно указывает дорогу. Он тяжело опускается на столб, глядит на солнце и, как будто подневольный, крутит головой. Я подхожу ближе. Беркут снимается. Так всё дальше и дальше он летит, а я иду за ним...

А вокруг — пустыня... Бледно-жёлтые пески, колючий, с чуть слышным запахом, терновник у дороги. Небо скупое, далёкое, густо-голубое. Тишина.

Куда ведёт он?

“Отверни лицо своё”, — вспоминаю я.

Останавливаюсь. Силуюсь ещё что-то вспомнить. Какой-то красивый символ. Забыл. Мне грустно, обидно. Пустыня Кара-Айны скучна, тосклива. Я поворачиваюсь, иду обратно. Шагаю быстро, думаю: “Беркут надо мной, наверное, смеётся”.

— Отверни лицо твоё! — назойливо стучит в мозг...

Сегодня получил из станицы письмо. Дядя, большой шутник и рыболов, пишет: “А Огюска подох. За посёлком в навозах нашли, скорчился, синий, как купорос. Замёрз, должно. Их, бритоголовых, нынче беда сколько подохло с тифу и с голодухи. Да ещё пришли граммофонных иголок, без них – могила. Шаляпина заведёшь, а он, как дувана, воет. Досадно, ни шиша не поймёшь”.

Что ж? И в граммофонном Шаляпине есть свой смысл, а вот какой смысл, что умер дувана Огюс.

Весь народ степей вымирает. Как мухи осенью. Толпами бродят у станиц и посёлков, просят, голодные, больные, завёрнутые в рваные тряпки и овчины.

– Пан! Клеба!..

Подают редко, больше гонят. Во-первых, зараза, во-вторых – если и жив останется, пользы от бритоголового мало. “Землю копят”, – пишет мой дядюшка.

А летом – с каждой кочёвкой меньше и меньше арбы волокут верблюды. Арбы ломаются, приходят в ветхость. Но что везти в них? Старые кошмы, похожие на кучи помёта, – до того они износились, поломанные казаны и мешочек курда? Скоро всё это можно будет утащить на себе.

– Трава – чок нету. Скотина пропадать будет, мы пропадать будем, – качая головой, фатально говорит киргиз.

А по вечерам зимой, летом собираются по несколько человек в юрты, прижимают руки к груди своей и медленно, тоскливыми голосами повествуют про смерть. По углам мечутся в жару больные. В степи воют волки – их теперь удивительно много. Об стены жилища бьются испуганные животные, храпят лошади. И медленными тихими голосами говорят люди о смерти.

О чём ином им говорить?

Лучше совсем ничего не говорить.

Смерть успокаивает.

Придут в степь люди, бросят “от арбы”, народ Ветхого Завета исчезнет. В степи будут иллюзии, велосипеды и газеты. В прекрасно изданных книжках писатели будут рассказывать сказки о степи. Сказки будут модернизированы – читать их будет приятно и весело.

А сейчас?

Сейчас мы купим сигаретку и встанем в очередь за билетом на новую интересную пьесу.

– Отверни лицо твоё! Уйди!

*Омск. 1919.*

## МИНИАТЮРЫ

### 1

#### ПОХОРОНЫ

Умер человек.

Обычный до жалости. Как капля воды, испаряющаяся на солнце, исчез.

В последнюю минуту его жизни в горле его стало что-то застревать, тяжёлый и холодный камешек, он попытался выплюнуть это и умер.

Схоронили его так же просто, как и жил он: старый священник в чёрной рясе, страдающий одышкой, получил за труды три серебряных рубля и пошёл с кладбища, думая об ожидавшем его сытном обеде.

Ушли немногие родственники. Через неделю-две они забудут его мысли, его страдающую душу так же, как и мы забыли об них, об их думах, горе.

На свеженасыпанный холмик уселись два серых воробья и стали чистить оперенье; кресты, точно засохшие деревья, распластали в воздухе руки; земля, насыщенная зноем, дышала душно, дурманяще. На дорожках, среди могил, росла полынь. А у его креста валялась недокуренная папироса. Вдоль ограды, обнимавшей кладбище, шли двое – молодые и весёлые, часто смеялись; от города доносилось дребезжание извозчицей пролётки.

Я сидел на скамейке рядом с его могилой и ничего не ждал, ничего не думал. Подошёл вечер, накинувший на землю чёрный бархатный куколь. Неторопливо зазвонили к вечерне. Я поднялся со скамьи и пошёл домой.  
Умер человек.

## 2

### ШИМПАНЗЕ

По песчаному берегу валялись опрокинутые свежевывисмоленные лодки, издали походили они на блестящие раковины.

Горел город. Через окна пылавшего дома ползли ленты белого дыма, дым падал на синюю воду и, казалось, придавлял её своей тяжестью — она гневно бурлила. По берегу беспорядочно было раскинуто имущество, выброшенное из горевших зданий, с другого берега летели сюда искры, и резало глаза отблеском солнца кинутое зеркало.

У старого плетня стояла железная клетка с шимпанзе. Обезьяна не помнила родных лесов, она родилась и выросла в городе. Теперь она была серая и дряблая от старости, но взгляд её был ещё властен и жесток. Она гордилась своими властелинами — людьми, так как поистине много она видела чудесного и необъяснимого.

Я странник, пришедший сюда с восходом и уходящий в сумраке. Что для меня горящий город? Костёр, у которого можно обогреться? Но ведь теперь лето.

Я наблюдал, как умирала в глупом шимпанзе вера в людей, как морщилась его физиономия, стараясь втиснуть в мозг новые понятия: почему они дрожат, плачут, кругом изъявляют признаки страха. Когда совсем не боязно. За городом — поле, от пожара легко и скоро можно уйти. Глупый шимпанзе, он не знал жадности. Взор зверя таял, зрачки тускнели, и члены шимпанзе вяло прижимались к железным прутьям клетки.

К шимпанзе подошёл мальчик — хилый, горбатый урод — взглянул на обезьяну. Понял её мученья и ударом ноги столкнул в реку клетку.

Шимпанзе утонул.

Уходил из города со мной вместе и мальчик. Хилый горбатый урод. Шаг расслабленно, устало и улыбался степному ветру.

*Омск. 1919.*

## ВСТРЕЧА

В столовой было грязно, тускло и жарко. Пахло табаком и крепким людским потом.

В углу двое оборванцев играли в карты, а против моего столика сидела пьяная компания. Стол у них был уставлен бутылками с водкой.

Из всех лиц меня заинтересовало одно — лицо инвалида-слепца. Изжелта-серое, с чёрными подглазниками и, как у всех слепцов, спокойно-чуткое, не обезображенное обычными так называемыми “выражениями”. У слепого не хватало одной ноги и одной руки.

— Пей! Угощай! — широко разевая рот с чёрными зубами, громче всех кричал слепой, сопровождая крик хохотом, матерной руганью и запивая его водкой прямо из бутылки.

Я ожидал услышать что-нибудь искусственное, напряжённое в этом крике, неестественное в хохоте. Ведь мы так привыкли в жизни видеть трагедию. Один из пьянствующих, заметив мой взгляд, пьяно улыбнувшись, сказал:

— Чё zenки лупишь?

Я ответил:

— Любопытствую.

— Чужую водку, братан, не любопытствуют, а пьют. Хошь — иди.

Слепой рассмеялся.

— Иди!

— Незнакомый я вам человек, — сказал я, — неудобно.

– Ничего. Иди. Всё равно кто-нибудь выпьет, знакомый ли, незнакомый. Я подсел. Налив мне рюмку водки, гулявшие занялись своими разговорами.

Я спросил слепого:

– Товарищи, что ли?

– Кто?

– А вот гуляют что.

– Денег у меня много, значит, и товарищи. Вот и ты такой же, за водку можно найти сколько хошь.

– Я водку не пью.

– Ну?

– Серьёзно.

– Та-ак... Зачем сел-то?

– Поговорить.

– Психопат, значит.

Я удивился:

– Это почему?

– У нас ротный так называл, кто водку не пьёт и поговорить любит. Психопат!

Слепой выпятил грудь, выпил водки и пальцем руки обтёр мокрые губы.

– А что слово это значит?

– Не знаю. Матершина, должно, заграничная.

Слепой опять выпил водки, пожевал кусок колбасы и выплюнул его.

– Сучий хвост, а не колбаса! Стервы!

Я сказал:

– Водку ты здорово глушишь.

Слепец положил мне на плечо руку и, покачнувшись, протянул с тоской:

– Ску-у-шна...

– Почему?

– За три месяца – доктор grit – подохну я.

– Врёт поди?

– Этот не соврёт – человек честный, меня давно знат.

– Умирать неохота?

Слепой изумился:

– Во-о... Нашёл тоже. А для чего жить-то? Со мной вот, – слепой сказал нецензурное слово, – не хочут ходить. Как падаль. Жить? Во-о... Ждать долго.

Не хотелось беречь рану, но спросил:

– И пьёшь?

– Шесть тысяч за дом получил. Продал. Седни кончаю, вот.

– А потом?

– В приют. На даровщинку.

Слепой поднял вверх бородёнку и весело заорал хриплым голосом:

– На-а-ве-ерх вы-ы, то-о-ва-ри-щи, все-е-е по-о-о ме-е...  
Затем спросил:

– Тебя как зовут-та?

– Тебя как зовут-та?

Я назвался.

– Та-ак... А меня Прошка, фамилия – Пронин, а зови Прошка. Потому окурочек от меня остался, а не Пронин.

– Ладно, Прошка.

– Во-о... Вылакай стакашку на знакомство.

– Не буду.

– Чёрт с тобой! Па-ла-вой!

Компания запела какую-то похабную песню.

Я спросил Пронина:

– Где тебя так-то?

– Не слышу! Ори сильнее... – закричал слепой.

Я громко прокричал:

– Где поранили?

– Меня? У Мазурских озёр. На позиции был?

– Нет.

– Ну и хорошо. Тогда тебе и не рассказать, не поймёшь.

– Домашних никого нет?

Слепой подумал и тоном трезвого человека сказал:

– Домашних-то? Есть. Баба. Да ребяташек две штуки.

Пронин спокойно, тихо, чуть шевеля губами, рассказал. В его голосе не звенело ни одной драматической нотки, но чувствовалось, что слепой не лжёт.

– Приехал домой, а баба визжит: “Мне такого гнуса не надо!” Она с австрийцем живёт. Прекрасно, не надо, так не надо. Ребятишки, кричу, идите! Старший сынишка Петька-то подбежал ко мне да как харкнет в рыло. Нам, грит, такого отца не надо. Колоду, значит...

Пронин закурил папиросу.

– Потом что?

– Потом ничего. Оно и верно, народ они хозяйственный, справедливый. Крестьяне-то. Обуза я, а не человек. Поехал я в город, а тут к случаю тётка подохла, домишко её я и унаследовал. Понял?

– Добрая тётка была?

– Сволочь. В белой горячке на плиту уселась. Ну и сдохла. Туда и дорога.

– Неудобно без ноги-то?

– Нет, ничего.

Слепой скривил лицо и выпил водку.

– Я ведь, братан, сейчас чую ногу отрезанную. Вот будто пальцем шевелишь, а то пятка зачесется.

Он засмеялся. Помню, таким же смехом смеялись мы в детстве, в деревне, вешая на тополе котелки. У всякого своё веселье!

Пронин стукнул костылём об пол и завопил:

– На-а-ве-ерх вы-ы, та-ва-рищи!.. Все-е по-о-о ме-ста-ам... .

Пьяная компания, обнявшись друг с другом, потная, краснолицая от выпитой водки, вытаращив осоловелые глаза, дико вопила:

– На-а-ве-ерх вы-ы... .

Один из оборванцев, игравших в карты, плясал трепака, в такт покрикивая:

– Двадцать одно!.. Двадцать одно!.. Тю-тю! Тю... .

Через два часа я увидел Пронина опять. Шатаюсь на своих костылях, он шёл мимо постоянного двора. Хрипло пел:

– Эй, ша-ра-бан мой!

Ша-ра-банчик!

Эй!

Поскользнувшись, он вдруг зашатался и как мешок повалился в водосточную канаву.

Упал на отрезанную ногу и дико завопил:

– О-о-о... .

Как серый камень глядело из канавы его жёлто-серое лицо с чёрным провалом рта:

– О-о-о... .

Проходя мимо, я подумал: “Эх, славно быть зрячим!”

На секунду закрыл глаза и зашагал быстрее, ощущая сильное, бодрое тело. Стыдно, вы скажете? Эгоизм?

Полноте. Не то ли самое подумаете вы, прочтя эти строки?

*Омск. 1919.*

## В СВЯТУЮ НОЧЬ

Мне снился сон.

Серые, мрачные глыбы гранита. Скалы нагромождены друг на друга. Острые пики горных вершин и над ними хмурые тучи. Безграничной ширью разбросана дикая пустыня, и далеко врезаются в небо резкие полосы уходящего горизонта.

Бурно клокочет и бьётся красными волнами река. Алые спирали расходятся и набегают, и, кажется, скользят в них усталые и грустные контуры лиц, полные тоски и муки. Над рекой угрюмо накренилась гигантская скала, — на ней две фигуры.

Высоко маячит в небе тёмный силуэт; лица в сером мраке не видно, только блестят огромные немигающие глаза и сверкает зелёный огонь в них. Изпод тёмного одеяния порой выскальзывает сухая рука и глухо хряпают позвонки... . Это — Ангел Смерти.



Ниже стоит на камне, на краю скалы, прекрасный и кроткий Ангел Мира с пальмовой веткой в руке. Он скорбно глядит на реку.

— Видишь эту кровь, — грустно говорит он, — она твоя... Ты захотел, чтобы она текла. Но зачем? Разве не довольно... Разве недостаточно той крови, которая так льётся... В эту Святую ночь, когда родился Великий Искупитель, не нужно крови. О, прошу тебя, могущественный и суровый!

— Ха-ха-ха! — злобно засмеялся Ангел Смерти. Глубоко в горах прокатился и замер отзвук. — Кровь! Умно сказано! Какая честь для меня, вечно проклинаемого, вечно одинокого, слышать просьбу от Ангела Мира, — такого светлого... Ха-ха-ха! Нет — там кровь, там — огонь, там — стоны, — и пусть будет так. Я не могу... Я не хочу... Пусть будет так!

— О, останови, зачем тебе это! Пусть люди наслаждаются в тишине покоем. Разве тебе не жалко плачущей матери, потерявшей детей; разве тебе не жалко отца, у которого убили единственного сына; не жалко разорённых полей и жилищ? О, останови, зачем тебе это?

— Останови! — снова загредел голос. — К чему людям мир. Они не достойны его, они должны выстрадать спокойное счастье, если его дать им сразу — они не поймут его. Если поставить слепца перед картиной, то он поймёт её красоту? Человек неблагодарен; волнуемый тёмными желаниями, беспокойный, от самого избытка сил своих, он с пренебрежением ступает по цветам, которыми судьба украшает стезю его в Мире; человек же, искушённый опытами, в самых горестях любит благодарить Небо со слезами за малейшую отраду. Счастье, так просто доставшееся, — легко и свободно — не будет прельщать его — ему нужно, чтобы оно было достигнуто слезами и рядом горьких испытаний — для того, чтобы он больше его понял. Милосердие не должно останавливаться ради отдельных личностей. Люди слабые должны отпасть, и они сгинут, а люди, сильные духом, верой в борьбу и святость её, — падут за общее дело. И вот на могилах героев битв воздвигнется знамя освобождённого человечества... Пусть будет так, зачем людям мир...

На сером граните блестели капли воды. Высоко в небе собирались тучи всё темнее и темнее. Одиноко маячила на скале гигантская тёмная фигура. И контуры её были так расплывчаты, что она казалась такой же тучей, как и на небе.

На камне, у обрыва, плакал кроткий Ангел Мира, и чистые слёзы алмазными струйками прорезывали мутный сумрак.

А вдали, среди разбегающихся красных кругов, плыла упавшая в реку пальмовая ветка...

*Курган. 1915.*

## ЗОЛОТО

Бледно-розовые блики на сонных струях речушки лениво трепещутся, словно шепчут какую-то далёкую и новую сказку. Тихо-тихо. Издалека от самого города донёсся дикий вопль, режущий кишки. Потом опять всё смолкло. С лугов плывёт пьяный запах засыхающей скошенной травы, и щекочет ноздри бодрящая сырость, опрокинутая звёздная бесконечность с косматой медведицей так гармонирует с тишью вечера. Померкнет одна звёздочка — тогда, кажется, не хватит в этой картине чего-то большого и важного.

— Эх, мулла! — говорит Керим, и его фигура в истрёпанном старом бешмете при алом свете костра приобретает какую-то несвойственную таинственность. — Любопытны вы, урус-мулла, как женщины, вы любопытны, да хранит вас Аллах! Почему, ты спрашиваешь, мы чтим наши песни, почему любим наши сказания? Потому — скажу я тебе, — что каждое слово песен и сказаний омыто слезами и в песню обращено долгими страданиями.

— Давно это было. Любили тогда ханы свой народ и заботились о нём. Проснулся хан Тефтик рано утром, не хочется ему лежать на мягких подушках — только хотел вскочить, как вспомнил вчерашнее. Едет он по базару и слышит — поют:

*Пусть шайтан возьмёт всё золото,  
Пусть прельщает им людей —*

*Мы же, бедные дувана,  
Не имеем тех страстей.  
Нас Аллах создал для блага,  
И примером мы должны  
Научать людей лишь правде  
Чрез познание любви.*

Не верил хан Тефтик никому и не верил, чтобы человек не любил золото. Знал хан Тефтик и не раз пробовал, что этим металлом можно купить всё на свете, и вдруг есть, оказывается, люди, презирующие золото. Не верил хан и повелел, чтобы предстал Дели-дувана (дервиш) пред его грозные очи. Дели-дувана – тот, который так громко пел на базаре песню.

– Дели, я хочу помочь тебе. Ты голоден – я накормлю тебя. Ты голый – я одену тебя. Ты беден – я обогащу тебя.

И велел хан одеть, накормить – и когда он уходил, то хан, передав ему курицу, набитую золотом, молвил:

– Вот эта курица принесёт тебе счастье, если ты вздумаешь её разрезать.

На закате третьего дня хан Тефтик увидел Дели-дувана вновь голым и без денег. И поведали хану, что роздал Дели деньги и одежду – говоря, что он привык ходить наг и бос.

Вновь приказал хан одеть и накормить его, и вновь на третий день увидел хан, что нет у Дели ничего, дарованного ханом Тефтиком.

Удивился хан, но решил ещё попробовать.

На другой день, когда народ ещё не вставал, хан приказал поставить небольшие мешочки с золотом поперёк дороги, по которой должен был пройти дервиш. Но шёл дервиш Дели, и шептал молитву, и не видел ничего вдали, кроме золотого полумесяца на минарете.

Но не было смыто сомнение хана, и не верил он. Вновь повелел хан Тефтик привести дервиша и, передавая горсть золота, сказал:

– Возьми эти деньги и трать их только на себя. Не смей раздавать их, не смей слушаться меня – силён мой гнев будет для тебя.

И был весел хан, так как он думал, что купил то, что нельзя купить, – чистую душу человеческую.

Весел хан.

На закате третьего дня пришёл дувана Дели к хану Тефтику и, целуя полу его шелкового халата, сказал:

– Зачем ты дал мне эти деньги? Как вихрь наших степей сушит влагу, высыпает живородные источники, так деньги жгут мою душу. Как я буду говорить о добре, о любви – когда у меня есть золото, которым можно кормить целое семейство голодных в течение трёх десятков дней? И слова мои возвращаются ко мне обратно одно за другим, такие безнадежно пустые, избитые и не трогающие сердца! Зачем ты дал мне это золото?

Понял хан и приказал дервишу раздать эти деньги бедным и идти с миром, ибо уверовал хан Тефтик, что не всё можно купить!

– Видишь вон ту гору, урус-мулла, и чёрные знаки на гладком камне её стен? Это не трещины, этими знаками приказал хан начертать песню в честь дувана Дели – но не разобрать этих знаков, не бери, урус-мулла, улькункоз, потому давно это было, и забыли люди читать эти знаки... А может быть, и совсем этого не было...

Замолчал Керим.

Ночь поднималась, подобно водной поверхности во время разлива, наконец достигла города, окутала старые крыши, задёрнула тёмной занавеской мерцавшую зарю на западе – и поползла по полю, тихая и важная.

И высоко-высоко над этой тёмной пеленой всплыл бледный месяц.

*Курган. 1916.*

## ПИСАТЕЛЬ

Старый, больной человек устало вышел из автомобиля. Заспанный швейцар услужливо распахнул дверь и снял с него дорогую шубу. Высокий человек медленно поднялся по устланной коврами лестнице.

Он прошёл в кабинет и задумчиво оглядел громадную комнату со сводчатым угрюмым потолком. Сквозь узкие окна ложились на стены и полы узорные лунные сабли. Он выключил электричество, и на него холодно взглянули блестящие дверцы книжных шкафов.

Этот человек — знаменитый писатель. Его книги в сотнях тысяч экземпляров расходятся по земному шару, и нет такой страны, где бы его не знали. Сейчас он приехал из ресторана, куда поклонники его таланта пригласили провести вечер. Ему и прежде нездоровилось, а тут, среди людей, глядящих на него изумлённо и восторженно, — ему стало как-то неопределённо грустно, он ушёл. Теперь, оглядывая комнату, он старался понять, зачем ему, собственно, нужно было уезжать.

Вдруг он увидел на столе длинный жёлтый конверт. Он его сразу узнал: только в таких конвертах посылал письма его старый друг — богатый книгоиздатель, выпустивший его первую книгу на гроши, полученные из-под залога единственной шубы. Теперь же он богат, очень богат.

Книгоиздатель писал ему, что он ждёт давно обещанного рассказа для благотворительного издания. Издание уже заблаговременно всё раскуплено — но к печатанию нельзя приступить — нет того, из-за чего распроданы неотпечатанные книги...

“Мы не хотели беспокоить, но Вы, очевидно, забыли”, — говорит письмо. — Нужно написать, — бормочет писатель и нервно грызёт карандаш.

Но о чём писать, он не знает. Перед глазами мелькают картины, но ни на одной не останавливается его мысль... Он встаёт и ходит по кабинету.

— Ак... ак... — сонно считает маятник.

Старый писатель вспомнил, что у него есть рассказы, написанные в молодости. Стоит лишь прочесть и переделать. Он достаёт из давно не раскрываемых ящиков стола запылённую, отцветшую тетрадку.

Вот она где, юность! На этих пожелтевших листах и сейчас горят полные отваги и любви к человечеству безумные слова, которые он так щедро бросал в те дни. И пред старым писателем несётся прошлое... Вот он ещё кузнец — держит заскорузлыми пальцами рук карандаш и выводит по бумаге неуклюжие, квадратные каракули, — соединяя их в слова и картины. И сам он, похожий на тот молот, которым плющил железо в кузнице, — верно и крепко бьёт по цели. Суровый, дикий, он страстно, по-своему любил людей, искал в них хорошее, хоть маленькую капельку красоты.

Но за красоту он хватался грубыми лапами кузнеца, и она сжималась или дробилась, как ломаются крылья бабочки от неосторожных прикосновений.

И вот он стал знаменитым. И то, что люди называют славой, съело всю его жизнь, и только теперь он заметил, что то, про что он говорил в своих книгах, он не испытал... Теперь, просматривая старые рукописи, он задумался... И не то что ему было жаль своего таланта, потраченного на бесплодность воплощения попыток бунтаря в книги, которые считались лучше из всех, написанных людьми, а было жаль того, что люди читали эти книги и не замечали лжи, ведь человек, писавший их, проповедовавший борьбу, не был сам бойцом, — неужели же люди видели в книгах отражение себя?

Острые его мысли, желавших по привычке врезаться в начало, притупилось, и ему стало душно...

Он не мог рассортировать по обычаю своих мыслей и создать из них известную картину, и потому его жизнь представлялась ему какой-то бессмысленной...

Его охватила жажда, он, восьмидесятилетний старик, пил только воду. Но воды, против обыкновения, не было. И оттого, что не было воды, ему стало ещё грустнее: “забыли” — пронеслось в его голове...

Он поднялся с кресла и пошёл сам на кухню за водой. Проходя по длинной анфиладе комнат, он печально окидывал взглядом роскошные залы, никогда не слышавшие смеха...

Писатель тихо отворил дверь в кухню, и резкий переход от полумрака к свету больно резанул его большие глаза. Он остановился на пороге.

Кучерёнок Митька и сынишка повара Андришка играют в карты, в “двадцать одно”.

— В банке пятак, — торжественно заявляет веснушчатый Андришка, собирая засаленные карты.

Писателю видно, как у сидящего к нему спиной Митьки высоко поднимаются от завистливого вздоха плечи.

- Получай... На сколько ты? – торопливо бросает Андрюшка.
- На две... – уныло тянет Митька. – Давай карту.
- На... Ещё?..
- Давай.
- На... Ну?..

Митька глубокомысленно молчит, навалившись на стол и шаркая старым пимом об пол.

– Ну, что?

– На, берись! – решает Митька.

– Ладно... Девять... два да король – пятнадцать... А ну ещё? Девятнадцать! Будя.

– Проиграл. – Митька опять вздыхает. – Дай-ка я побанкую – ты чо-то...

– На! – Андрюшка отдаёт карты. Игра продолжается.

Старому писателю вспоминается его детство в душевой избушке городского караульного... Тогда так же бились с братишкой Пашкой в картишки, дрались, мирились, а теперь... Брат где-то спился и умер в участке, а он...

– На, берись! – искусственно басит Андрюшка.

Митька боязливо открывает полинялые грязные карты. Банк его – целое состояние – пятнадцать копеек.

– Двенадцать... Шестнадцать... Восемнадцать... – раздаётся в напряжённой атмосфере. – Не знаю, брать ли?..

– Бери! – выпаливает вдруг писатель.

Ребятишки, выпучив глаза, онемели. Вечно угрюмый барин теперь ласково улыбается, но и улыбка его не может ободрить их, они испуганно жмутся.

– Боитесь? – спрашивает писатель. – Эх, поросыта!

– Никто не боится, – угрюмо огрызается Андрюшка, – не орал бы, дак и ладно... А то все ушли – мы одни тут.

– Не знаете вы ничего, вам же подсказывал – ещё карту нужно взять...

– Ещё, – передразнивает Митька, – возьми-ка сам, когда у меня восемнадцать по банку идёт ведь, Андрюшка... не буду брать.

– Бери, парень... – писатель присаживается у стола и смотрит лукаво на ребятишек, – отвечаю...

– Отвечаешь! Врёшь, поди?

– Верно тебе говорю.

– Ну, ладно. На! Эх, сволочь, – перебрал – десятка!

Писатель вынимает кошелек, но мелких у него нет.

– Обманул... – тянет разочарованно Митька. – Так и знал...

Наступает неловкое молчание.

– Вот что, – решает писатель, – принимайте меня в игру – а с тобой, брат, сквитаюсь... Рубль, пожалуй, найдётся у вас разменять!..

– Я разменяю, – отзывается Андрюшка, – айда бери карту. Как ещё сквиташь-то?

– На сколько тебе? – спрашивает у писателя Митька.

– На пятак.

Нанесла!.. Десять... два...

Игра идёт очень оживлённо, через полчаса писатель чувствует, что из кошелька порядочно убыло...

– Сыпь! – возбуждённо кричит Андрюшка, кидая на стол выигранные деньги, – по банку! Давай!..

И ещё через полчаса денег у писателя нет. Андрюшка банкует; прикрыв азартно деньги локтем, он спрашивает:

– На сколько тебе, деда?

– По банку.

– Ответ?

– Нет у меня тут. Потом принесу.

– Чо потом – давай сейчас – на кон.

– Нету, говорю.

– Не дам карту.

– Ты в залог ему чо-нибудь дай, – предлагает Митька.

– Ничего у меня нет.

– Давай пинжак! – кричит Андрюшка.

Писатель скидывает сюртук. Андрюшка складывает в карман сюртука деньги, свёртывает и кладёт под себя.

- Так, деда, не отнимешь – коли проиграешь?.. Сколько тебе карт?
- Одну.
- Получай!
- Ещё.
- На.
- Ещё...
- Ещё надо?
- ...Перебор.

Писатель сердито бросает карты и уходит из кухни под смех ребятишек.

Он идёт без сюртука по тёмным роскошным залам и радостно смеётся... Потом быстро вбегает в кабинет, кидает на стол лист бумаги и большими буквами выводит:

“Весёлый день угрюмого человека”.

Месяц спустя секретарь знаменитого писателя взволнованно вошёл к нему в кабинет и, протягивая газету, сказал:

– Ваш единственный враг – критик Зумыслов – сдался.

– Как?

– Вот здесь: “Мы имели счастье прочесть одно из самых гениальнейших произведений человеческого духа – “Весёлый день угрюмого человека”...”

Писатель рассмеялся.

Секретарь испуганно выронил газету из рук: за пятнадцать лет он первый раз услышал смех угрюмого сурового писателя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

**ВЕРТЕЛЬЩИК СЕМЁН** – Впервые: “Народная газета”. Курган. 1916. 20 октября. С. 845–848.

Печатается по первой публикации.

Датируется – 1916.

В основу рассказа положены события из биографии Вс. Иванова – работа в типографиях Павлодара (1910–1912), где писатель, как и его герой, был вертельщиком печатной машины, и Кургана (1915–1917), в частности, в типографии А. И. Кочешева, где набирался “Курганский вестник”.

**... три розовые бумажки, да одну синюю...** – Имеются в виду бумажные ас-сигнации: на красно-розовой бумаге печатались 10 рублей, на синей – 5 рублей.

**“Серебром играет улочка...”** – В текст этого рассказа и некоторых других, написанных в 1916–1917 гг., Вс. Иванов включал строки частушек тех лет. Об интересе писателя к этому жанру народной словесности свидетельствовала и его заметка “Война и отражение её в частушках” (1917).

**Напередки** – впредь, в будущем.

**Ударил в голову серыми казанками дурман...** – сущ. “казанки” образовано, вероятно, от казаться – представляться, принимать вид обманчивый или сомнительный (В. Даль).

**Кислушка** – брага, приготовленная с небольшим количеством сахара; напиток из кислого мёда, настоянного на хмеле.

**НИО** – Впервые: газ. “Степная речь”. Петропавловск, 1916. 25 декабря. С подзаголовком “Из рассказов об ушедшей Сибири”.

Вырезка из газеты с текстом рассказа вклеена Вс. Ивановым в самодельный сборник “Зелёное пламя”.

**СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ** – Впервые: газ. “Степная речь”. Петропавловск, 1917. 1 января. С подзаголовком “Из цикла “Злоявь” и посвящением “Посв. Ал. Меньшикову”.

По предположению исследователя творчества Вс. Иванова Л. А. Пудалова, рассказ посвящён одному из издателей газеты “Ишимская степь” (после 1913 г. – “Приишимье”). (См. об этом: Пудалова Л. А. Сибирские рассказы Всеволода Иванова. Становление жанра рассказа в раннем творчестве писателя. Дисс. К. ф. н. Иркутск, 1966.) Цикл “Злоявь” в творчестве Иванова не выявлен.

Вырезка из газеты с текстом рассказа вклеена Вс. Ивановым в самодельный сборник “Зелёное пламя”.

Автограф рассказа хранится в РО ИРЛИ. Ф. 185. Архив В. С. Миролюбова. Оп. 1. Ед. хр. 1537. Вероятно, Вс. Иванов послал рассказ в 1916 или 1917 г. В. С. Миролюбову – редактору-издателю “Журнала для всех”. Рассказ напечатан не был. Между двумя источниками существуют некоторые разночтения стилистического характера:

**...змея каст...** – Касты – замкнутые эндогамные группы людей, обособившиеся вследствие выполнения специфических социальных функций, наследственных занятий и профессий, принадлежности к определённой этнической или религиозной общности. Характерны для Древнего Египта, Индии, Перу.

**ОТВЕРНИ ЛИЦО ТВОЁ** – Впервые: газ. “Заря”. Омск, 1919. 7 января. С. 1. Подпись: Вс. Иванов – Тараканов.

Печатается по первой публикации.

Датируется 1919 г.

**Курд** – киргизский сыр, употребляется вместо хлеба (примечание в газетном тексте).

**От арба** – железная дорога (примечание в газетном тексте).

**МИНИАТЮРЫ** – Впервые: газ. “Земля и труд”. Курган, 1919. 24 февраля. С. 3. Подпись: Вс. Иванов – Тараканов.

Печатается по первой публикации.

Датируется 1919 г.

**ВСТРЕЧА** – Впервые: газ. “Земля и труд”. Курган, 1919. № 149. 12 июля. С. 2. В разделе : Маленький фельетон. Подпись: Всеволод Тараканов.

Печатается по первой публикации.

Датируется 1919 г.

**“Наверх вы, товарищи...”** – слова из известной песни “Памяти “Варяга”” (слова Е. М. Студенской), написанной между февралём и апрелем 1904 г. и посвящённой подвигу команды русского крейсера “Варяг” во время русско-японской войны. В 1904 г. “Варяг” героически сражался у Чемульпо с японской эскадрой, ввиду угрозы захвата противником был затоплен командой.

**...у Мазурских озёр...** – группа озёр на северо-востоке Польши. Во время Первой мировой войны в районе Мазурских озёр в 1914–1915 гг. происходили кровопролитные бои между русскими и германскими войсками.

**В СВЯТЮЮ НОЧЬ** – Впервые: Народная газета. Курган, 1915. № 50. 26 декабря.

Печатается по первой публикации.

Датируется 1915 г.

**ЗОЛОТО** – Впервые: газ. “Приишимье”. Петропавловск, 1916. 3 июля.

Вырезка из газеты с текстом рассказа вклеена Вс. Ивановым в авторский самодельный сборник “Зелёное пламя. Рассказы и сказки”. Курган – Омск. 1916–1917. Хранится в личном архиве писателя. Часть текста, содержащая песню Делидувана, отклеена и утрачена, текст восстановлен по газетной публикации. Рядом с вклеенным текстом на с. 2 запись рукой писателя: “Глупость! Вс. Тараканов”.

**Улькун-коз** – бинокль (примечание в газетном тексте).

**Бешмет** – стеганое татарское полукафтанье; стеганный, а иногда и суконный поддёвок под кафтан; простой суконный кафтан с кожаной оторочкой, обшивкой на рукавах, у кисти, по краю полы (В. Даль).

**Дувана** – от казах. “диуана” – дервиш, мудрец; странник, скиталец, бродяга; блаженный, юродивый; шаман.

**ПИСАТЕЛЬ** – Впервые: газ. “Степная речь”. Петропавловск, 1917. 15 января. С подзаголовком “Новелла”.

Вырезка из газеты с текстом рассказа вклеена Вс. Ивановым в самодельный сборник “Зелёное пламя”.

**Публикация и комментарии  
Елены Папковой**